

Впечатления и встречи



Людмила Горелик

Людмила Горелик

Впечатления и встречи

«Автор»

2025

Горелик Л. Л.

Впечатления и встречи / Л. Л. Горелик — «Автор», 2025

Это короткие рассказы о жизни человека, проходящего свой путь вместе со страной на протяжении пятидесятих - девяностых годов XX в.. Ребенок, школьница, потом учительница, потом научный работник внимательно вглядывается в окружающий мир, улавливает его изменения, видит вокруг себя разных людей. Человек живет во времени, впитывает его в себя. Время меняется, человек меняется тоже. Книга – итог пережитого, сгусток впечатлений о времени, о родной стране и ее людях. Родной город автора - Смоленск - основное пространство воспоминаний.

© Горелик Л. Л., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Пролог: Так начиналось	5
Часть первая: На нашей улице	7
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Людмила Горелик

Впечатления и встречи

Пролог: Так начиналось

Я потомок смоленских крестьян из починковского захолустья – со стороны матери, и местечковых приказчиков с юго-западной окраины империи, с черты оседлости – со стороны отца. Также были среди предков польские отнюдь не шляхтичи, а, скорее, трудно выбивающиеся из бедности мещане, с неосуществленной мечтой о собственном пивном заводике. Пестрое происхождение, но явно из народа.

Знаю о предках мало. Прадед Василий Зябрин, русский крестьянин, крепкий хозяин, жестко руководил большим семейством. Прабабка Матрена мужа боялась: он и руку на нее мог поднять, если что. Прабабка была кроткая, но живая и шустрая, хорошо готовила, любила кормить внуков (так мама рассказывала). Семейство у них было большое: три сына и три дочери, все при отце, кроме старшей – моей бабушки. Ту ребенком отдали «в люди», в ученицы к портному, а в семнадцать лет она вышла замуж за милиционера. По утрам Василий проводил для членов семьи «летучку», каждому давал задание на день и попробуй послушайся! Благодаря четкому распределению обязанностей и трудолюбию выбились почти что в кулаки – хорошо, что зять (мой дед), поляк по национальности и большевик с 1917 года, в понимании прадеда большой человек (начальник отделения милиции!) вовремя приехал из города и строго приказал: «Папа, отдавайте все! Прямо сейчас пишите заявление в колхоз и не жалеете, сдавайте скотину, а не то пойдете по этапу, и я ничем Вам не помогу!» Прадед зять послушался, подал заявление в колхоз одним из первых – записали в середняки. Однако к своим коням на колхозную конюшню, подобно Кондрату Майданникову, ходил почти каждый день – то овса им из дома принесет, то почистит у них. Сокрушался, что плохо их в колхозе содержат, плакал, так жалел коней. Это мой прадед был. А дед Антон-Анатолий-Амвросий, тот самый поляк-коммунист, с моей бабушкой, дочкой Василия, в самом начале тридцатых развелся (она, как рассказывала, не простила измену), жил с новой женой, учительницей, там тоже дети родились – двое, кажется. В 1938-ом он погиб, был реабилитирован в 1956-ом – посмертно.

Если о маминых родственниках все же что-то знаю, то от папиного еврейского клана осталась только фотография, смотрю иногда: вот тетя Роза, вот дядя Наум... Запомнила их с раннего детства, когда приезжала в возрасте пяти лет «на море», да кое-что (мало) знаю по рассказам отца. Связи эти были тогда же и потеряны – задолго до смерти папы. Он оставил родной город в семнадцать лет, уехав поступать в институт в Москву, потом была война, а демобилизоваться он предпочел по месту жительства жены, моей мамы, – в Смоленск. Папа вырос в неполной семье, его отец рано умер, воспитывала его советская школа. Ни языка еврейского, ни обычаев он не знал, хотя его мать, моя бабушка Берта, писала рассказы на идиш (и профессионально пела оперные арии – кажется, училась этому). Была она, в отличие от «маминой» бабушки Евдокии, которая меня воспитывала и о которой я уже много писала, кроткой и безответной – мама говорила, что ей со свекровью жилось легко (до моего рождения и еще около года после жили вместе). Это все, что я о ней знаю, потом она жила не с нами, умерла в 54 года.

Я начала осознавать себя довольно рано – примерно с года, даже чуть раньше. Самое первое воспоминание – как меня купают. Большое цинковое корытце возле печки в бабушкином доме, я стою на ножках в этом корытце, и меня поливают теплой водой из черпачка – ополаскивают. Участвуют мама и обе бабушки. То есть это происходило еще до отъезда папиной бабушки Берты (когда она уехала, мне было около года). Интересно, что в этой сцене купания я помню, как проявляются характеры взрослых, и именно на основании их поведения теперь

могу делать выводы о том, кто из них кто: главенствует мамина бабушка, хозяйка дома, вторая держится в тени, ее от меня отстраняют, она молча подчиняется, и я это замечаю, причем, я еще плохо знаю, кто они такие...

Второе воспоминание: сестра болеет, она лежит на кровати (тоже в бабушкином доме), меня к ней не пускают, а я очень хочу попасть. Я уже умею ходить, но плохо – топаю неуклюжими ножками, меня со смехом ловят и поднимают на руки, когда я направляюсь к ее кровати. Позже мне объяснили, что сестра болела корью. Со слов мамы знаю, что тогда все же от нее заразилась. Корь плавно перешла в скарлатину, после чего меня забрали в больницу – одну, маму не положили, хотя мне было чуть более года. Тогда, в конце сороковых, после года клали ребенка одного. Про больницу и скарлатину совсем не помню – думаю, это было слишком страшно, потому и забылось.

И третье воспоминание – мы получили комнату на Ленинской. Мне примерно два года, может, чуть более. Помню, как на меня надевали кукольное платье (снимали с куклы и смеялись, что мне впору). В комнату на улице Ленина меня привезли, когда родители там более-менее устроились. В памяти отпечатались кадры: угощают чаем, кладут ложечкой сахар из сахарницы. Входит соседка, тоже мне что-то говорит. Это она принесла сахар к чаю, у нас еще нет. На дворе – 1950-й год, Смоленск семь лет как освобожден от оккупации, отстраивается из руин.

Ну, а дальше, с трех лет, воспоминания расширяются, оформляются логически. В эту книгу я включила только то, что произвело особое впечатление – и часто это вполне обыденные вещи. Мои воспоминания отражают будничную жизнь рядового жителя провинциального города второй половины XX века, тем и интересны. Более всего мне хотелось запечатлеть и сохранить черты повседневного городского быта, какими они открывались в годы моего детства и молодости. Ведь время так быстро меняет свои черты.

Часть первая: На нашей улице

Земляничное варенье

У нас в семье варили много варенья. Сахар в те пятидесятые годы был дефицитом, он не лежал постоянно в магазинах, а его "выбрасывали". Вдруг прибежала соседка и, торопясь, кричала в дверь "В Банковском сахар выбросили!" Банковским тогда называли тот гастроном, что на углу Коммунистической и Советской, он и сейчас функционирует, только больше так не называют. Мы с тетей Маней (а если еще кто-то был дома, то все) тут же подхватывались и бежали на Советскую. Давали сахар в ограниченном количестве, по одному или по два килограмма на человека, поэтому нужно было обязательно идти всем. Очереди за сахаром выстраивались большие, обычно во дворе магазинов. Зато плоды и ягоды у нас были свои.

У бабушки, проживающей на окраине города, возле Днепра, имелся небольшой садик: яблони и вишни. Вот из них и варили. Изредка покупали абрикосы, но это не каждый год, а если попадались дешевые, понемногу. Пару раз мама ездила за брусникой, очень вкусное было варенье. В шестидесятые годы бабушка стала выращивать клубнику, из нее тоже варили.

Но земляничного варенья у нас не было никогда. Землянику в детстве я вообще припоминаю с трудом – запомнилось, что если мы где-то находили кустик во время прогулки в лесу, то мама мне отдавала. С земляничным вареньем у меня тоже связана история о человеческой доброте и щедрости. Я впервые попробовала его не дома.

Лето я всегда проводила у бабушки. Там была веселая уличная компания детей. Массу в значительной степени составляли дети из одного семейства (назовем их Ивановы). В семье Ивановых было шестеро детей и все, кроме самой старшей, были близки мне по возрасту. Кто младше, кто старше... Но бегали по улице и по лугу за домами, играли в шандыр, в чирика, в прятки, в лапту мы все вместе. С Ивановыми было весело, они были придумщики и пользовались большим авторитетом среди нашего детского товарищества. Очень часто мы бывали у Ивановых и дома. Мать, назовем ее тетя Катя, была с нами приветлива и когда садились за стол, всегда приглашала. И мы с радостью усаживались за стол с Ивановыми, ели вместе с ними вареную картошку с солью... Картошки было не очень много – помню, что дети Ивановы ссорились между собой, если кому-то из них доставалась лишняя. Но совершенно не понимали мы, дети из других семей, что им меньше достается из-за того, что мы за столом... Как-то раз бабушка зашла за мной к Ивановым во время обеда, страшно на меня разозлилась и увела оттуда. "И не стыдно тебе! – выговаривала она мне по дороге. – Дома есть не заставишь! У них самих есть нечего, чего тебя туда тянет все время?..." Не помню, случилась ли история с земляничным вареньем раньше или позже этого бабушкиного выговора. С меня станется, что и позже...

Однажды мы, человека три с "нашей улицы" (так мы ее называли), забежали к Ивановым вместе с их детьми, дело было зимой, – погреться. И тетя Катя вдруг стала угощать нас земляничным вареньем! Она принесла большую (трехлитровую) банку, разрешила батон и каждому присутствующему намазала бутерброд. Как только она открыла банку, по комнате... – а у Ивановых была как бы крестьянская изба: одно большое помещение с русской печью посередине – вот по этой большой комнате разнесся необыкновенный запах леса. Свежий, горьковатый, терпкий лесной запах счастья и свободы. Кажется, это было все-таки уже после бабушкиного предупреждения, потому что, помнится, некоторые угрызения совести у меня возникли. И мы все съели по бутерброду. Тетя Катя мазала щедро, варенье лежало на батоне толстым слоем и продолжало издавать свой невыносимо-прекрасный аромат. Оно было густое, поэтому не сте-

кало с батона. И с тех пор, когда вижу земляничное варенье, я всегда вспоминаю тетю Катю и Ивановых. Изредка я покупаю земляничное варенье в магазине, намазываю его толстым слоем на батон... Оно не очень похоже на тети-Катино – более жидкое и не пахнет лесом. Оно стекает с батона и приходится подбирать его ложкой... Оно продается в маленькой баночке и стоит дорого. Но я иногда беру.

2. Участковый Потапов

Потапов был участковым милиционером на той улице, где жила моя бабушка. Эта окраинная улица вся состояла из частных деревянных домиков. Потапова я помню на протяжении всех пятидесятих годов: этот человек живет в памяти моих детских лет, то есть в эпизодах середины пятидесятих, а последний раз я его видела в 1959-ом.

Его имя не запомнилось, оно было не нужно. Звали его Потапов, и больше никак. Думаю, что и для той эпохи он был неординарным участковым. Во всяком случае, я ведь не помню совершенно участкового с ул. Ленина, где жила с родителями. Хотя и в середине, и во второй половине пятидесятих милиционеры бывало, что появлялись в нашем доме: некоторые соседи, выпив, буянили, нищие (тогда так называли, а не бомжи) устраивались спать при входе на чердак, да и серьезное ограбление однажды случилось в нашем подъезде – причем, грабителем оказался близкий сосед. Милиционеры, конечно, приходили, опрашивали. Но индивидуально, конкретно ни один милиционер не запомнился. А Потапов запечатлелся в памяти на всю жизнь.

Вот он идет чеканным шагом по вверенной ему улице Б. Краснофлотской – широкие темно-синие галифе, заправленная под ремень на подтянутой фигуре гимнастерка, блестит на солнце околыш фуражки, блестят всегда хорошо начищенные сапоги. Лицо помню без конкретных черт: медальное, жесткое – вот и все. Прямые волосы под фуражкой. Через плечо наискосок, перерезая поясной ремень – кожаный планшет (тогда это слово обозначало офицерскую полевую сумку, а не компьютер). Сколько ж лет ему было?... Скорее всего, где-то от сорока пяти до пятидесяти пяти. По всей вероятности, он, как почти все мужчины тогда, имел военный опыт.

Потапов обходил свой участок регулярно. Эта вытянутая вдоль Днепра улица с одноэтажными деревянными домиками, конечно, требовала присмотра. Помимо разбирательств по конкретным происшествиям, Потапов следил за порядком в целом, включая чистоту улицы. Подобные эпизоды помню более всего. Никаких ящиков для сбора мусора на улице не было, ничего не вывозилось. С мусором население должно было справляться своими силами: что можно, сжигать, а что нельзя, перерабатывать в удобрение для огорода (огороды были у всех). Возможно, поэтому жители то и дело выбрасывали какую-нибудь не поддающуюся переработке дрянь (вроде сплющенного оцинкованного таза) на улицу, или же спонтанно устраивали мусорные кучи на лугу, в конце огородов: кто-то выбросит там тихонько мусор из ведра, а за ним так же поступит другой, третий. Глядь – а куча мусора уже превратилась в неорганизованную помойку, крупные навозные мухи летают над ней. А вывозить кто будет? Потапов?

Не знаю, кто вывозил, – возможно, что и Потапов... Потому что разгон после этого он устраивал большой. Устанавливал (определял всегда!), кто выбрасывал, когда выбрасывал, взимал штрафы и, главное, кричал весьма грозно, по-командирски, на виновных. Он проходил по улице – сверкала фуражка, вспыхивали отраженным солнечным светом сапоги, извергали молнии горящие гневом глаза. «Эт-то чей башмут?» – кричал Потапов, поддевая начищенным сапогом давно валявшийся в канавке посреди проезжей части мужской ботинок без шнурка, с надорванной («каши просит») подошвой – Убр-р-рать!». «Не мой, это не мой», – с недоуменно-честным видом качали головами почтительно окружавшие Потапова хозяева близлежащих домов... Но кто-нибудь непременно убирал ботинок.

В ведении Потапова было все обустройство улицы – даже уличные деревья. Почти возле каждого дома росли одно-два дерева. Их высадили хозяева когда-то давно, они прижились... Возле бабушкиного дома росли ольха и тополь. Улица (собственно, придаток улицы – отро-сток, ответвление, расположившееся почти возле самого Днепра) была очень узкая. Машины появлялись на этой улице редко, но все же случались иногда: дрова привезти, стройматери-алы... И вот некто там, наверху решил, что надо улицу расширить за счет деревьев. Хозяев обязали перенести деревья ближе к домам, почти вплотную – чтобы разгрузить центральную часть улицы. Заниматься этим поручили тоже Потапову.

К этому делу он отнесся не менее серьезно, чем к остальным. Он ходил с плотничьим складным деревянным метром (были такие!) и выверял расстояние от дома до дерева. Не помню, какое уж там должно было быть, однако у бабушки получилось больше положенного. Предлагалось или срубить «непротокольные» деревья, или пересадить ближе к дому – на рас-стояние, допускаемое протоколом. Хорошо помню, как я плакала из-за этих деревьев. Переса-живать их было немыслимо – кто ж пересаживает такие взрослые деревья. Срубить – жалко. Кажется, Потапов предлагал срубить и посадить другие, поближе к домам – на «положенное» расстояние. Хозяева, у кого были деревья, их срубили. Новые посадили, конечно, далеко не все. Мало кто посадил, если точнее сказать. А еще точнее – никто. Бабушка, как мне хорошо помнится, срубила тополь (потом на маленьком пеньке росли зеленые веточки), однако не срубила ольху. Ольха была красивая, с длинными красновато-коричневыми сережками среди яркой листвы летом, с коричневыми шишечками на черных, почти обугленных сырых ветках в ненастную пору поздней осени. Ольху бабушка не срубила. И Потапов этого как бы не заметил – то ли кампания затихла и рубка больше не требовалась, то ли сам Потапов взял этот грех на душу.

В последний раз я встретила Потапова уже не на Краснофлотской. Шел 1959 год, я учи-лась в четвертом классе. На праздники оставалась обычно с родителями, в доме на ул. Ленина. В дни больших праздников с демонстрациями (то есть 7 ноября и 1 мая) центральные улицы города перекрывались грузовиками. Ставились почти вплотную друг за другом два-три, а то и четыре грузовика поперек дороги – так, чтобы полностью перегородить не только проезд, но и проход. Граждане или шли в колоннах, демонстрируя свою мощь и лояльность, либо сидели дома, готовя праздничный стол к приходу демонстрантов. Разreshалось и просто стоять на улице, смотреть демонстрацию, но только в определенных местах, не передвигаясь в неполо-женные. Поощрялось желание приветствовать демонстрацию, махать букетиком с бумажными белыми цветочками, привязанными к еще безлиственным, с набухшими почками веткам (1 мая) или просто маленьким красным флажком вкупе с воздушным шариком (7 ноября). Вот с такими веточками и флажками я носилась в детстве по праздничным центральным улицам, радостно преодолевая заграждения.

Если конкретнее, происходило следующее. Мы, младшеклассники, на демонстрацию еще не призывались. Сидеть дома и нарезать винегрет или чистить праздничную селедку было скучно. Я обычно отпрашивалась «посмотреть демонстрацию с Таней». Таня – моя ближай-шая подруга и одноклассница – жила в доме напротив. Но просто так смотреть на шагающих в колонне нам быстро надоедало. И вот мы, несколько девочек-соседок в возрасте от 8 до 10 лет, придумали развлечение: еще до начала праздника, до перекрытия улиц, уходили куда-нибудь подальше от дома, однако в пределах центра. Фишка была в том, чтобы пробраться к своему дому во время демонстрации, преодолев или обогнув перекрытия.

Это была увлекательная и непростая игра. Мы то бегали проходными дворами, огибая «заставу», обдумывали путь (здесь нужно было хорошо знать город), то проскальзывали между грузовиками и убегали от кричавших вслед милиционеров, то, напротив, с крупными детскими слезами на глазах уговаривали «дяденек-милиционеров» пропустить нас... Если не пропус-кали, мы уходили якобы «смотреть демонстрацию», а сами пробирались другим путем.

В тот раз очередное препятствие возникло уже на подходе к дому. Через улицу Маяковского стояло заграждение из двух грузовиков. Несколько милиционеров прохаживались рядом. Проскочить было невозможно. И вдруг в одном из милиционеров я узнала Потапова! Он тоже узнал меня. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он строго. «Я живу вот в том доме. – Я показала рукой, дом действительно был уже рядом. – Мы с девочками демонстрацию смотрели. И теперь не можем домой пройти!». «А-а, – протянул Потапов. – Ты, значит, у родителей сейчас!». Подумать только, он помнил даже то, что я была на Краснофлотской «приходящая», что родители в центре жили. «Ну ладно, проходите! – сказал Потапов. – Пролезайте вон там, под машиной». Он кивнул стоящему рядом милиционеру: «Пропусти их». Мы радостно полезли, было, под грузовик. «Подождите! – остановил Потапов. И посверлил глазами: Больше не бегайте по улицам! Хватит вам уже на сегодня бегать и под машинами лазать: демонстрация скоро кончится!». И мы, пристыженные (ну вот откуда он знал?) согнувшись, полезли пробираться между колесами, а проницательнейший из участковых, Потапов, усмехался нам вслед.

3. Крепедшин, крепжоржет, шифон – удивительные ткани пятидесятих годов.

Моя бабушка была профессиональной портнихой. Она не училась в специальном портновском училище, у нее вообще не было образования, никакого. В восьмилетнем возрасте родители отдали ее, старшую дочь, из многодетной крестьянской семьи «в люди» – в город, в семью портного.

Девочка с малолетства выполняла обязанности прислуги, а взамен ее кормили и учили шить. В семнадцать лет она вышла замуж. К этому времени шить научилась очень хорошо. Шила странным, никогда мне больше не встречавшимся, невиданным и, по-видимому, теперь утраченным способом – без выкроек.

Обмерив клиентку сантиметром и записав (почерком плохо умеющего держать карандаш первоклассника) данные на клочке газеты, она без каких-либо лекал, отмеряя на ткани отрезки тем самым портновским сантиметром, уверенно разрезала ткань: вот рукава, вот спинка... Потом были, конечно, две примерки, во время которых платье подгонялось по фигуре. Даже самые сложные фасоны шила таким образом моя бабушка!

Помню в ее доме журналы мод, их было штук десять. В детстве я их постоянно разглядывала, знала наизусть. На картинках изображались красивые дамы в замечательных платьях. О, эти моды 1950-х годов! Фестоны, выточки, кокетки, подрезы... По большей части рисованные изображения, но были и фотографии. Бабушка только махала рукой на мои детские вопросы, сможет ли она сшить то или иное платье. «Это все я могу запросто», – говорила она.

В те годы частный пошив одежды был запрещен. Шить следовало в ателье, где ткань, случалось, портили при высокой стоимости пошива. Готовая одежда продавалась в магазинах, но была еще хуже, чем сшитая в ателье: уродливая, сидит плохо, хотя и из хороших тканей.

Пенсия бабушки составляла тридцать два рубля. Даже по тем временам это было очень мало. Справедливости ради, следует отметить, что бабушка работала на госпредприятии только в войну: в городе Зеленодольске, где она находилась в эвакуации, она шила на фабрике гимнастерки и бушлаты для советских солдат. А до войны она «служила домохозяйкой» – у нее были обеспечивавшие семью мужья: первый (мой дед) занимал пост в милиции, второй был кавалерийским офицером. Пенсию бабушка получала, как она говорила, «за мужа» (за второго, конечно; с первым они развелись) – вдове полагалась, кажется, половина. В общем, при этой крохотной пенсии бабушка иногда бралась шить платье на заказ... Да и уж очень просили! Я помню молодых женщин, девушек, умолявших ее шить платье. Просили, случалось, буквально на коленях – даже такие эпизоды я наблюдала в детстве.

И не удивительно: брала она недорого, шила хорошо. Любой фасон, из любой, самой сложной для шитья, ткани. Чаще всего на заказ бабушка шила из крепдешина или из креп-жор-

жета. Реже из шифона. Эти ткани представляли собой тонкий натуральный шелк, очень дорогой. Такие ценные ткани боялись отдавать в ателье, а уж на бабушку надеялись – не испортит.

Себе и нам, своей семье, бабушка шила из штапеля или ситца – на дорогие ткани у нас не было денег. Да и у самой бабушки после войны шелкового платья не имелось. Бабушка четко делила жизнь на «до войны» и после... До войны она считала себя обеспеченной женщиной, слыла красавицей, одевалась хорошо. Шить на заказ начала только после войны. К этому времени она была уже не очень здорова, получила инвалидность. Из натуральных шелковых тканей шить было нелегко: они скользили, тянулись, а креп-жоржет еще и очень «сыпался». Кроить их следовало осторожно, а выкроив, сразу же оперативно и аккуратно, самой тоненькой «вышивальной» иголкой заделывать швы – тогда все вручную делалось.

Шить она бралась нечасто – ну, может, одно-два платья в месяц, да и не каждый месяц... Прибавка к пенсии получалась небольшой. Дело не только в сложности работы, а, прежде всего, в том, что труд этот был опасный, запрещенный. Бабушка боялась, что о ее подработке станет известно властям.

Эта работа не была особенно выгодной, за крепдешиновое сложное платье она брала всего восемь-десять рублей, в зависимости от степени сложности. Однако завистники находились. Один раз к ней в дом пришли с обыском. Случилось это во второй половине 1950-х годов. Насколько я понимаю, бабушке грозил штраф и конфискация, не тюрьма. Однако и это воспринималось как большое несчастье: денег-то не было не только у бабушки, но и в нашей семье.

В 1955-ом году мой папа был отправлен «поднимать село» – тогда было такое движение, «тридцатитысячники»: отправляли со всех предприятий. Село действительно нуждалось в обновлении, но вряд ли мой папа мог там что-нибудь поднять при его специальности библиотекаря. Тем не менее, он поехал, прожил там один, без семьи, более четырех лет, приезжал к нам только на воскресенье. Он работал в районном отделе культуры, ездил по селам с лекциями. Все же он поднял в каком-то колхозе жирность молока, уговорив доярку выдаивать лучше, после чего его отпустили. Однако первые мои школьные годы прошли в неполной семье.

В первый класс я пошла без папы. Жили мы в этот период, как я понимаю теперь, бедно. Тогда, впрочем, никаких разговоров на эту тему в семье не велось, держались старшие так, как будто никаких материальных трудностей вообще не существует, хотя почти пять лет мы втроем (мама, сестра и я) жили почти исключительно на мамину библиотечную зарплату – семьдесят, потом восемьдесят рублей, она заведовала абонементом. Однажды, уже в шестом классе, я заметила (и очень этому обстоятельству удивилась, так как была уверена, что наша семья вполне обеспеченная), что только у меня школьная форма сшита из саржи, у других девочек была шерстяная. Как я теперь понимаю, бабушка нам помогала, стараясь делать это незаметно. В сарайчике у нее всегда жили семь или восемь кур, а рядом с домом был небольшой огород с картошкой, овощами, яблоками. Благодаря этому мы могли жить не голодая.

Об обыске я узнала от мамы. Мне к тому времени, наверно, уже исполнилось лет девять. Мама, если работала во вторую смену, частенько с утра уходила к бабушке готовить: там была печка, и готовить было много удобнее, чем в общей кухне на керогазе, – выходило быстрее и даже более вкусно. Мама приносила обед для нашей семьи от бабушки в кастрюльках и бежала на работу. Случалось, что не успевала забежать домой, и тогда шла на работу прямо с кастрюльками. А уж потом, вечером, доставляла их домой. В кастрюльках была еда на три дня. Их хранили «за окном», – про холодильники мы еще не слышали.

Когда к бабушке пришли с обыском, мама как раз была у нее: готовила тушеную картошку (основная наша еда) в голландской бабушкиной печке. Бабушка в окно увидела приближающуюся группу: председатель уличного комитета, участковый и еще двое соседей – члены уличного комитета.

Председателя уличного комитета бабушка боялась, как огня, это я помню. Ее звали, кажется, Катерина, она жила далеко от нас, но на улице все друг друга знали. Это была еще довольно молодая женщина, худая, выше среднего роста, с модной «шестимесячной» завивкой. Теперь уже не помню, да, наверно, и тогда мало знала, что такое «уличный комитет». Занимался он, кажется, преимущественно бытовыми проблемами улицы: вывоз мусора и т.п. Но и нравственность жителей, и соблюдение уголовного кодекса тоже были в ведении комитета. Во всяком случае, незаконное предпринимательство (например, пошив, в среднем, одного платья в месяц на заказ) уличным комитетом пресекалось.

В доме на тот момент действительно лежало раскроенное платье «на заказ». Было оно, естественно, из крепдешина – бабушке заказывали исключительно из дорогих материалов, потому что она была портниха высокого класса. Самое ужасное, что кроме этого раскроенного платья, в доме находился еще один «отрез» (так тогда называли) крепдешина – его принесла накануне заказчица. Бабушка не хотела брать новый заказ, не выполнив первый, однако заказчица настаивала, просила едва не слезно. И бабушка сдалась – взяла, пообещав, что начнет шить сразу после того, как сошьет уже раскроенное. То есть в доме шились сразу два крепдешиновых платья! Если бы их нашли, последствия могли оказаться тяжелыми.

Я не знаю, почему все это – раскроенное платье и чужой «отрез» – оказалось под матрасом. Возможно, бабушка всегда прятала свою незаконную работу под матрац. Возможно, она успела спрятать улики, заметив в окно приближение процессии. Мама рассказывала мне, что когда «комиссия» вошла в дом, она сразу же села на эту кровать, на то самое место, под которым был спрятан чужой крепдешин. В бабушкином крохотном домике не было прихожей, с улицы входили в кухню, да, по сути и комната была отгорожена от кухни только печкой. При виде входящих «гостей» мама опустила на кровать, возможно, просто от испуга, а возможно, интуитивно почувствовав, что надо как-то крепдешин прикрыть, хотя бы своим телом. И сидела там ни жива, ни мертва, бледная, со сжатыми губами, все время обыска. Более крепкая духом бабушка показывала «гостям», что они желают посмотреть: открывала шкаф, тумбочку, разворошила диван.

Что случилось бы, если б «комиссия» нашла тот раскроенный крепдешин? Ну, оштрафовали бы. Не знаю на какую сумму. Еще отобрали бы чужой крепдешин и чужое раскроенное платье, а возможно, и швейную машинку. Кроме швейной машинки ничего ценного у бабушки не имелось. Ножная швейная машинка «Зингер» была куплена ею после войны. Точно такая же машина «Зингер» пропала у бабушки в период оккупации Смоленска. Она эвакуировалась в июле 1941 года в Татарстан, на Волгу, а когда вернулась в Смоленск в сорок третьем, после освобождения, никаких вещей здесь не оставалось. И не могло остаться: Смоленск весь был сожжен. Другие вещи восстанавливать, конечно, у нее не было сил и средств, но машинку как необходимое орудие труда восстановила.

Бабушкина ножная швейная машинка «Зингер» и сейчас стоит у меня в доме. Машинка давно не работает. Полированную крышку пришлось заменить на простую доску, приводной ремень из прочной кожи разорван, колесо и весь ножной приводной механизм вечно пылятся. Машина занимает место, на которое можно было бы поставить, например, книжный шкаф или удобное кресло. Или оставить пустым – для воздуха.

«Выброси!» – говорят одни. «Продай» – советуют другие. Я ни за что не выброшу и ни за какие деньги не продам эту машину. Я люблю смотреть на ее узорчатую лягушачью станину, на чугунные буквы SINGER в чугунной же горизонтально вытянутой рамке, застывшей в окаймлении четырех лягушачьих лап; на двух вполне реалистичных лягушек, распластаных по бокам на решетках станины... В детстве, ползая под машинкой в поисках годных для куклы крепдешиновых лоскутков, я с любопытством разглядывала чугунных, с растопыренными лапами, лягушек вблизи, интуитивно воспринимая их как основу творения, фундамент

мира. В студенческие годы с удивлением узнала, что именно так классифицирует хтонических существ славянская мифология.

Думаю, что так же – вполне мифологически – воспринимали машинку «Зингер» и бабушка с мамой. Этот фундамент не должен был рухнуть. Вот почему мама, сцепив на коленях руки, сжав губы, в полуобморочном состоянии сидела на кровати в том месте, где под матрасом были спрятаны «улики»: раскроенное чужое платье и чужой отрез крепдешина. Вот почему бабушка, такая же бледная, как мама, с независимым «королевским» видом наблюдала стоя, как выворачивали из шкафа перед соседями ее латаное бельишко. Нашей семье нелегко было бы расплатиться за два отреза крепдешина, уже не говоря о штрафе. Потеря машинки «Зингер» казалась невыносимой в принципе.

Почему «комиссия» не нашла этот злосчастный крепдешин? Так естественно было попросить маму встать и осмотреть постель... Почему они не сделали этого? Вряд ли на «комиссию» произвела сильное впечатление бедность жилища – тогда многие так жили. Да и открыт был дом бабушки для соседей, некоторые члены «комиссии» там бывали раньше.

Возможно, председатель уличкома Катерина не догадалась о тайнике под матрасом. Возможно, соседи, члены уличкома, постеснялись поднимать сидящую на кровати в полуобморочном состоянии насмерть испуганную маму. А может быть, единственный профессионал – участковый Потапов, привычный к обыскам и, надо полагать, умеющий проводить их профессионально, – не очень хотел найти крамольный крепдешин? Он хорошо знал всех жителей улицы, знал и нашу семью.

Не меняя бесстрастного «милицейского» выражения лица, он первым сделал шаг от распахнутого, разоренного шкафа к порогу (португее скрипнула), отодвинул ногой в начищенном до блеска сапоге выпавшее из связки дров возле жарко пылающей печной топки березовое полено, еще раз строго кивнул бабушке (или строго покачал головой?), отворил дверь (дверь скрипнула, как бы перекликаясь с кожаной портупеей участкового)... Впуская холод, вслед за участковым в открытую дверь устремилась «комиссия». Морозный воздух радостно ворвался в натопленную крохотную кухню, снежный вихрь закрутился в дверном проеме, проник в дом, мгновенно опадая, оседая в теплом помещении в виде мелких капелек на крашеном полу, на вязаном из лоскутков круглом половике. Бабушка, согнув, наконец, ватные ноги, бессильно опустилась на кровать рядом с мамой.

Часть вторая: Встать в строй.

1. Мой первый выход в строй.

В школу я пошла в 1955-ом году. Папа в начале этого года был направлен на работу в село как «тридцатитысячник» – было такое движение для поднятия сельского хозяйства. Он жил теперь вдали от нас, в поселке Кардымово, читал лекции по селам, а к нам приезжал на воскресенье. Наша семья оказалась на целых четыре года неполной: кроме меня, мама, сестра Дина и тетя Маня. В школу провожать меня пошли мама с сестрой. Нас, первоклассников, помнится, собрали в один из последних августовских дней – это было еще не учебное, а организационное мероприятие.

В большом актовом зале средней школы №7 (до революции там была Первая мужская гимназия) собрались все первоклассники с провожающими: мамами, папами, сестрами, братьями... Классы формировались на сцене. Объявили: «Первый класс „А“!». И на сцену поднялась учительница этого класса, начала читать список учеников. По мере называния дети поднимались на сцену, выстраивались ровным рядом вслед за учительницей. Когда был оглашен весь список учащихся класса «А» и дети вслед за учительницей строем покинули сцену и пошли в класс, мама с сестрой огорчились: они считали, что в «А» классе лучше учиться. Дина училась в «А», перешла уже в шестой класс, мама в свое время тоже училась в «А». Но я туда не попала. Когда выяснилось, что я не попала и в «Б», и в «В», они опечалились еще более...

Процедура заняла довольно много времени: в каждом классе было по сорок с лишним человек. Я все это время очень волновалась: когда же вызовут? И как это я пройду одна по залу, поднимусь на сцену?

Дело в том, что я, в отличие от большинства детей, не посещала детский садик. По городу я ходила за ручку с тетей Маней, или мамой, или, в крайнем случае, с сестрой. Поэтому я с большим волнением ожидала своего одиночного выхода на сцену. Когда же, наконец, меня назвали в списке «Первого „Г“», я растерялась. То есть до сцены еще как-то (не помня себя и ничего не видя вокруг) добежала, поднялась по боковой лесенке на возвышение... Но оказавшись на сцене и оглянувшись с ее беспримерной высоты на огромный, колыхающийся головами и слабо жужжащий зал внизу, растерялась совсем. И вместо того, чтобы встать в строй, как делали другие дети, заметалась по сцене. От ужаса почти ничего не видя и не зная, куда мне приткнуться.

Меня спасла Людмила Ивановна. Высокая, строгая и красивая, хотя и чересчур молодая для учительницы женщина неспешно подошла ко мне прекрасной театральной (очень уместной на этой сцене) походкой, твердо и ласково взяла за ручку и отвела куда надо. То есть в строй.

2. Баранки, или Пронзительная мелодия детства

Нашей учительнице было восемнадцать лет. Она только что окончила Смоленское педучилище и была принята на работу в школу №7, одну из лучших в городе. Дали ей, конечно, самый тяжелый класс. Людмиле Ивановне на первых порах трудновато приходилось. Однако ее упорство в сочетании с несомненным педагогическим талантом и приверженностью к работе учителя дали свои плоды. К четвертому классу мы стали лучшими в своей параллели. А уж любили Людмилу Ивановну, как ни одну учительницу позже... Она была прекрасная, внимательная и... строгая! Моя история про баранки связана со строгостью Людмилы Ивановны.

Это произошло, когда я училась во втором классе. В школу мы приносили обычно «завтраки» из дома. В основном, бутерброды. У меня это были, как правило, два кусочка батона, смазанные сливочным маслом, уложенные масляной стороной друг к другу и завернутые в газету. Да-да, тогда бутерброды заворачивали в газету, это нормально было! Иногда в оберточную бумагу, но чаще в газету. Осенью к моему «завтраку» добавлялось яблоко из бабушкиного сада. Случалось, вместо бутербродов была булочка «выборгская», с повидлом внутри. А в тот день мама дала мне с собой две баранки.

В детстве я была малоежка. Про «завтрак» частенько забывала. Вот и в тот день я как-то забыла про школьный завтрак. Баранки, завернутые в газету, нетронутые лежали в портфеле. Четвертым, последним, уроком у нас было пение.

Тут надо вспомнить, что все уроки в младших классах ведет один и тот же учитель. Исключение делается для физкультуры и пения. Впрочем, физкультуру в нашем классе Людмила Ивановна тоже вела сама. А вот пение было отдано Марье Ивановне. Марья Ивановна – средних лет женщина, с шестимесячной завивкой, с вечным баяном на одном плече – вела пение во всей нашей параллели. Пение свое она любила и преподавала хорошо. При этом была беззлобная и не очень следила за дисциплиной. На ее уроках было шумновато. Она рассказывала про ноты, разучивала с нами песни...

В тот день Марья Ивановна рассказывала нечто теоретическое. Урок был последний, мы устали. В середине урока я вдруг почувствовала голод и вспомнила, что мой школьный «завтрак» – две прекрасные свежие баранки – лежит у меня в портфеле. Не вынимая «завтрак» из портфеля, я запустила в портфель руки, потихоньку проделала в газете дырку и отломила кусочек баранки. Совсем маленький, чтоб незаметно было, как жую. Оказалось, очень вкусно! Я так же осторожно отломила второй кусочек...

И тут один мальчик, не буду называть его имя (жив ли он сейчас?), поднял руку и, глядя на Марью Ивановну честными детскими глазами, пожаловался: «Марья Ивановна, а Люда Горелик кушает баранку!». Я замерла. Как стыдно! Что теперь будет?! Однако не случилось ничего. Марья Ивановна лишь на минуту прервала свой рассказ, внимательно посмотрела на меня из-под очков и продолжила урок. Сейчас я понимаю, что эта добрая женщина не хотела из-за пустяка ругать неплохую, вроде бы, ученицу, полагая, что строгого взгляда будет достаточно.

О, как она ошибалась! Я не совсем понимаю, какая муха тогда меня укусила. То ли я так безумно хотела есть? То ли (это скорее) меня раздражало, что наблюдательный мальчик, пожаловавшись, удвоил внимание: теперь он и вовсе не сводил с меня глаз. Этот принципиальный мальчик, наверно, твердо решил не допускать нарушения дисциплины на уроке пения. И под его пристальным взглядом я опять, тихонько, но упрямо, отломил кусочек баранки...

Очень быстро выяснилось, что смотрел на меня теперь уже не один мальчик. На этот раз пожаловалась девочка (разумеется, я «поименно помню тех, кто поднял руку», однако из соображений гуманности не буду называть и ее имени).

Марья Ивановна, видимо, растерялась: она не была прирожденным педагогом и просто не знала, как поступить в данной ситуации. Поэтому, выслушав девочку, она без каких-либо эксцессов продолжила урок. Однако теперь уже никто не слушал про скрипичный ключ! В классе было тихо, как никогда не бывало на уроках Марьи Ивановны. Весь класс с интересом смотрел на меня. А я... я по-прежнему потихоньку доставала из портфеля и ела баранку...

На другой день я, конечно, ни про вчерашние баранки, ни про ябед вовсе не думала. Не забывайте: нам было по восемь лет, мы далеко не все понимали, а многое понимали совсем иначе, чем взрослые. Нравственное сознание в значительной мере складывалось именно тогда – из мелочей, из преступлений и наказаний... Вероятно, я и не вспомнила бы сейчас эту историю, не имей она продолжения.

Страшное, невозможное неблагополучие я почувствовала сразу же, с самого начала первого урока. Произошло это так. «Вторую смену» у нас в школе до звонка выше первого этажа не пускали. Как и многие другие, время перед звонком я проводила в школьной библиотеке. Она находилась на первом этаже, туда можно было зайти беспрепятственно. В тот день я увлеклась детским журналом «Мурзилка» и пропустила звонок. Спихватилась, когда уже одна в библиотеке осталась. Бегом побежала в свой класс. Влетела после второго звонка: «Можно сесть на место?» Так полагалось спрашивать. Я понимала, что хвалить меня не за что, не за опоздание же. Но Людмила Ивановна смотрела как-то уж слишком неодобрительно-отрешенно... «Где твой портфель?» – сказала она, наконец. И глаза у нее были чужие. «Ой, в библиотеке забыла! Можно за ним сходить?» И опять Людмила Ивановна посмотрела отрешенно, кивнула, однако как-то неопределенно, как будто и кивать-то мне не хочет...

Поначалу я надеялась, что это случайность, что мне показалось. Но уже на первом уроке стало ясно: нет, не случайность. За весь урок Людмила Ивановна не спросила меня ни разу! Хотя я тянула руку изо всех сил, а к концу урока от отчаяния уже почти из себя выпрыгивала.

На втором уроке случилось ужасное. Людмила Ивановна раздавала тетрадки – обычно она давала по маленькой стопочке тетрадок желающим помочь. Мне давала всегда: потому что я читала очень хорошо, а значит, раздавала тетрадки быстро и правильно. В этот раз она, почти не глядя, рассовывала тетрадки маленькими пачечками в протянутые к ней со всех сторон руки, и мне почти уже вложила в руку... О, как я их схватила! Но, взглянув на меня, она вдруг мгновенно отвела свою руку с тетрадками...

Как это было пережить? С большим трудом, огромным усилием воли я сдерживала слезы – стыдно расплакаться при всем классе. А ведь внутри у меня все рыдало. На перемене я побежала на первый этаж – там был туалет с отдельными кабинками, там можно было выплакаться вволю. И на следующей перемене я тоже ходила туда плакать.

Людмила Ивановна не ругала меня. Хуже: она просто не хотела меня знать. За опоздание? Или за баранки? А может быть, за портфель? От неизвестности было еще тяжелее.

Не знаю, что было бы со мною, если бы любимая учительница продолжила экзекуцию и на следующий день. Вряд ли я это смогла бы пережить. Однако, отпустив нас домой, она вдруг сказала: «Люда Горелик, останься!».

После всего испытанного в этот день разговор показался мне совсем легким. Людмила Ивановна спросила про баранки. Я от всей души, искренне и охотно раскаялась в своем поведении. Вместе мы отправились искать Марью Ивановну. Нашли в цокольном этаже. В той старой школе был цокольный этаж – мрачный, холодный; там располагались помещения для уроков труда и какие-то кладовки. Там всегда было сумрачно и полупустынно. Увидели мы учительницу пения издали. «Ну, беги», – сказала Людмила Ивановна. Радостно я кинулась к Марье Ивановне, попросила прощения. Та растроганно улыбалась. И так же растроганно улыбалась Людмила Ивановна. Она смотрела на нас издали и кивала... Цементный пол, мрачные своды полуподвала, вечный холод цокольного этажа, пудовые замки на дверях кладовок – все, все стало легким, радостным...

3. Уроки пения.

В годы моего детства многие родители отдавали детей в музыкальную школу. Считалось, что дети должны развиваться гармонично, уметь играть на фортепьяно. И вообще это было... модно, что ли. Возникла мысль о музыкальной школе и у моей мамы. Сама она в детские годы музыке училась, запомнив, впрочем, более всего то, как весело было на пару с подругой прогуливать в «музыкалке» уроки. Тем не менее, когда подошло время, она захотела обучать музыке и нас с сестрой. «Возьмем пианино напрокат, – говорила она папе. – Уберем из того угла этажерку, передвинем плотнее кровати – и поставим инструмент. А со временем купим свой, пусть играют».

Папа сидел на продавленном диване – как всегда, с дымящейся сигаретой в руке, в окружении разбросанных по дивану, обеденному столу и даже по полу газет и журналов, перед громоздкой радиолой, из которой бойкий мужской голос, пробиваясь сквозь вой и писк глушилок, произносил трудноразличимые слова. Рядом болтался маленький однопрограммный динамик и тоже что-то вещал. Телевизора тогда еще не было, но позже папа и его включал, если шла информационная или аналитическая программа. Папа имел особенность слушать и читать сразу все. Маму он тоже слышал. Поэтому после ее слов слегка прикрутил звук и задумался. Вид у него был недовольный.

– А надо ли это? – сказал он наконец. – если бы у них были способности к музыке, тогда, конечно. Но ведь слуха нет у обеих, петь не умеют... И как ты это представляешь в одной комнате?! Это же несколько лет – пока выучатся – у тебя над ухом брэнчать будут!

В общем, в музыкальную школу нас не отдали. Музыкальные основы я постигала на уроках пения. Учительница пения Марья Ивановна была женщиной лет сорока, запомнившейся непременно с баяном. Если она на нем не играла, то он свисал у нее с одного плеча, отчего плечо перекашивалось. Так и шла она по плохо освещенному коридору Седьмой школы, в прошлом Мужской гимназии №1 (теперь там вновь гимназия): среднего роста, слегка грузноватая, с химической завивкой, с баяном через плечо.

Марья Ивановна не стремилась быть педагогом, зато очень любила пение и музыку. На ее уроках мы часто «духарились». Не знаю, существует ли сейчас это слово. Тогда оно было популярно среди школьников и означало что-то вроде «веселились» – но с оттенком баловства и непослушания. Даже если мы сильно духарились, Марья Ивановна все равно продолжала урок – как ни в чем не бывало. Запомнились ее рассказы про скрипичный ключ и нотные знаки. Класс духарился, однако некоторым было интересно (мне в том числе), и они слушали внимательно. Марья Ивановна для них и рассказывала, как бы не замечая остальных. Иное

дело, когда пели хором (в основном, этим и занимались). Тут должны были участвовать все. И участвовали – может быть, потому что пение увлекало, петь было даже интереснее, чем духариться.

Песни мы пели исключительно патриотические, о Гражданской войне – не знаю, требовала ли этого учебная программа или же имел место личный выбор учительницы. Так, например, мы разучивали «Песню о Щорсе». Она более известна по первой строчке «Шел отряд по берегу...». Это была грустная, но и героическая песня о безвременной гибели красного командира.

Но особенно запомнилась песня «Там вдали за рекой...». Она была тоже о герое гражданской войны, однако безымянном, рядовом бойце – может быть, поэтому такая печальная. Эта нравилась даже больше. Возможно, потому что трогала безвестность героя – на его месте легко было представить себя. Трогал его предсмертный разговор с конем («Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих») и готовность к гибели за правое дело. Мы тоже были готовы погибнуть «за рабочих». Да, со слезами на глазах. Важно и то, что песня одновременно трогательная, печальная, но и героическая – о непременной конечной победе. Даже несмотря на гибель героя. Мы разучивали ее весь год.

Весь мой третий класс прошел под знаком этой песни. На каждом уроке пения отводилось тридцать минут на ее исполнение. И мы с удовольствием пели! Марья Ивановна упорно добивалась, чтобы пели мы верно, не фальшивя. Нет, она никогда не говорила «Ты, Иванов, не пой – тебе медведь на ухо наступил». Она учила, показывала и добивалась, в конце концов, что несчастный покалеченный медведем Иванов начинал петь правильно. И я до сих пор пою эту песню правильно. (Редкий для меня случай).

Особое внимание Марья Ивановна проявляла к сочетанию «... ских войск».

Сотня юных бойцов из буденновских войск

На разведку в поля поскакала....

Вот это «... ских войск», должно быть, имело особую важность в музыкальном отношении. Марья Ивановна показывала, дирижируя рукой «... ски-и-их войск». Потом слушала нас – переложив баян на одно плечо и оттопырив освободившейся рукой ухо... потом слушала каждого отдельно... И опять показывала. В общем, я имею основания гордиться тем, как я пою «...ских войск».

И в трудную минуту жизни, во дни сомнений и тягостных тревог, или раздумий, или, например, в период пандемии, проснувшись утром в мокрой от пота постели, трясаясь от боли и страха, надтреснутым и хриплым, и прерывистым от неизвестной болезни голосом я пою песню «Там вдали за рекой...». И тяну (в соответствии с нотами – совершенно так, как если бы у меня был музыкальный слух!): «...ск-и-их войск». И, вытирая глаза пододеяльником, сочувствую безвестному бойцу, и верю в непременную конечную победу.

А если бы в годы моего детства у нас были, например, две комнаты, и меня отдали бы в музыкальную школу, я, проснувшись в печали, играла бы, например, Моцарта. Или Шуберта. Но и «Там вдали за рекой...» тоже очень хорошо.

5. Снегурочка и инспектор.

В тот весенний день мне исполнилось девять лет.

С утра меня, однако, никто особо не поздравлял: утром все спешили. Мама ушла на работу. Еще раньше ушла в школу сестра-семиклассница. Я училась во вторую смену; в первой половине дня мы оставались в нашей комнате вдвоем с тетей Маней. И вдруг пришла бабушка и подарила мне на День рождения шесть рублей! Такой крупной суммы у меня никогда еще не было. Случалось, что мне давали рубль, но не больше.

Здесь следует пояснить, что объективно шесть рублей и тогда отнюдь не представляли собой существенную сумму. Ведь действие происходило еще до денежной реформы 1961 года, когда стоимость рубля выросла в десять раз.

В ту пору, рубль был стандартной суммой, изредка выдаваемой детям на целевые, хотя и необязательные, траты: купить в школьном буфете два жареных пирожка с повидлом, или сходить в кино, или съесть самое дешевое молочное мороженое. После 1961 года на эти нужды стали давать десять копеек... А в 1957 году стандартной суммой, выдаваемой ребенку, был рубль; больше рубля мне еще никогда не давали. Поэтому я очень обрадовалась шести рублям. Более всего меня воодушевляла возможность сделать самостоятельную большую покупку: купить какую-нибудь игрушку, например... Не потому, что она мне нужна. Просто это было необыкновенное, интересное событие: совершенно самостоятельно, без участия родителей пойти, выбрать и купить. Мне, конечно, приходилось и раньше самостоятельно ходить в магазин. Однако это было совершенно другое. Это меня «посылали» за обыденными покупками для семьи – за молоком или хлебом,.

Случилось так, что почти сразу после бабушки пришла моя одноклассница Валя. Она просто так зашла, мы ходили иногда друг к другу в гости. Телефонов у нас не было. Мои шесть рублей она восприняла почти так же радостно, как я. Для детей той поры это было большое и занимательное приключение: самим потратить на свои нужды некую собственную сумму...

Времени до школы оставалось уже не так много, и мы с Валей заспешили в магазин: потратить деньги немедленно – это было совершенно необходимо! Тетя Маня отпустила меня легко, она понимала наше желание как можно быстрее осуществить покупку. Напротив дома, где мы жили, был магазин, в котором продавали галантерею и вообще мелкие товары, даже игрушки. Мы помчались туда: в другие магазины уже не успевали.

Нас ожидало, однако, разочарование: почти все хоть сколько-то привлекательные товары стоили дороже шести рублей. Такая крупная сумма, а не хватает... Что же делать? Отложить покупку не приходило в голову: сейчас, только сейчас! Мы горели нетерпением что-нибудь купить. Но что?

По цене подходила лишь Снегурочка. Вероятно, эта небольшая фигурка в белой пластмассовой шубке до пят, с пластмассовой желтой косой, выпущенной из-под голубой пластмассовой шапочки, с кривовато нарисованными на розовом личике бледно-голубыми глазами осталась стоять на полке с Нового года. Сейчас, в апреле, она была никому не нужна. Кроме нас! Главное ее достоинство заключалось, конечно, в цене: она стоила шесть рублей! Ну, нечего делать – придется брать Снегурочку, решили мы. Больше ни на что денег не хватает.

Разочарование подстерегало, однако, и здесь. Когда я протянула продавцу мои собственные прекрасные, замечательные 6 рублей (кассы в магазине не было), выяснилось, что Снегурочка стоит 6 рублей 10 копеек. Цена на ценнике была указана верно, просто на такую мелочь, как десять копеек, мы с Валей в спешке не обратили внимания.

Десять копеек даже нам, детям, казались суммой несущественной. До реформы 1961 года за 10 копеек нельзя было купить вообще ничего. Это была даже меньшая сумма, чем одна копейка после реформы. Коробка спичек стоила до реформы 12 копеек.

Но вот оказывается, что без этих ничемных десяти копеек нам не дают Снегурочку! Что же делать? Поначалу мы решили поискать на полу – вдруг где-нибудь валяется? Мелочь ведь часто роняют... Пол был грязный, плиточный. Туфли, ботинки взрослых шаркали по нему, а мы, низко склонившись среди этих ботинок, искали... На полу валялся обрывок газеты, спичка,... Деньги не валялись. Что же делать? Возвращаться домой и просить у тети Мани было слишком долго: имелся риск не успеть собраться в школу. И мы решили, что такую мелочь, такой несущественный пустяк нам, в принципе, может предоставить любой взрослый. Ну что такое 10 копеек для взрослого человека!?

Первой отважилась обратиться к незнакомой тетеньке более смелая Валя, а я последовала ее примеру. Очень робко, сильно стесняясь, спросила какую-то тетю, потом, помедлив, вторую. Объясняла, что этой крохотной монетки не хватает на Снегурочку. Обе молча отвернулись и, кажется, были недовольны. Жадные какие-то попались – подумать только, 10 копеек жалко, а ведь за них ничего нельзя купить! Третья тетенька – средних лет приличная женщина в драповом пальто и в маленькой модной шляпке – проявила к моей просьбе интерес. Она неожиданно сильно взяла меня за плечо и спросила строго: «А где ты живешь?». Я поняла ее так, что детям нельзя одним уходить далеко от дома и поспешила успокоить: «Я живу совсем рядом – в доме напротив!». Однако вместо того, чтобы обрадоваться и выдать мне 10 копеек, тетенька продолжала крепко держать меня за плечо и спрашивать: «А есть ли дома кто-нибудь из старших?». Поскольку я была девочка воспитанная и знала, что на вопросы взрослых следует отвечать, я рассказала ей, что дома сейчас одна тетя Маня, а мама на работе, а папа живет не с нами, он только на воскресенье приезжает. Все это я рассказывала спокойно, думая, что тетя, убедившись в моем полном благополучии и хорошем воспитании, выдаст мне 10 копеек и мы с Валею (которая теперь скромно стояла в сторонке, тоже ожидая, что эта тетя поможет), купив Снегурочку, пойдем собираться в школу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.